

ЛЕКЦИЯ

LX

ПЕТР ВЕЛИКИЙ, ЕГО НАРУЖНОСТЬ, ПРИВЫЧКИ,
ОБРАЗ ЖИЗНИ И МЫСЛЕЙ, ХАРАКТЕР

Петр Великий^{1*} по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их.

Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету. В свое время я уже говорил о династической хилости мужского потомства патриарха Филарета. Первая жена царя Алексея не осилила этого недостатка фамилии. Зато Наталья Кирилловна оказала ему энергичный отпор. Петр уродился в мать и особенно походил на одного из ее братьев, Федора. У Нарышкиных живость нервов и бойкость мысли были семейными чертами. Впоследствии из среды их вышел ряд остряков, а один успешно играл роль шута-забавника в салоне Екатерины II. Одиннадцатилетний Петр был живым, красивым мальчиком, как описывает его иноземный посол, представлявшийся в 1683 г. ему и его брату Ивану. Между тем как царь Иван в мономаховой шапке, нахлобученной на самые глаза, опущенные вниз и ни на кого не смотревшие, сидел мертвенной статуей на своем серебряном кресле под образами,

рядом с ним на таком же кресле в другой мономаховой шапке, сооруженной по случаю двоецария, Петр смотрел на всех живо и самоуверенно, и ему не сиделось на месте. Впоследствии это впечатление портилось следами сильного нервного расстройства, причиной которого был либо детский испуг во время кровавых кремлевских сцен 1682 г., либо слишком часто повторявшиеся кутежи, надломившие здоровье еще не окрепшего организма, а вероятно, то и другое вместе. Очень рано, уже на двадцатом году, у него стала трястись голова и на красивом круглом лице в минуты раздумья или внутреннего волнения появлялись безобразившие его судороги. Все это вместе с родинкой на правой щеке и привычкой на ходу широко размахивать руками делало его фигуру всюду заметной. В 1697 г. в саардамской цирюльне по этим приметам, услужливо сообщенным земляками из Москвы, сразу узнали русского царя в плотнике из Московии, пришедшем побриться. Непривычка следить за собой и сдерживать себя сообщала его большим блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое выражение, вызывавшее невольную дрожь в слабонервном человеке. Чаще всего встречаются два портрета Петра. Один написан в 1698 г. в Англии по желанию короля Вильгельма III Кнеллером. Здесь Петр с длинными вьющимися волосами весело смотрит своими большими круглыми глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, кажется, удалось поймать неуловимую веселую, даже почти насмешливую мину лица, напоминающую сохранившийся портрет бабушки Стрешневой. Другой портрет написан голландцем Карлом Моором в 1717 г., когда Петр ездил в Париж, чтобы ускорить окончание Северной войны и подготовить брак своей 8-летней дочери Елизаветы с 7-летним французским королем Людовиком XV^{1а}. Парижские наблюдатели в том году изображают Петра повелителем, хорошо разучившим свою повелительную роль, с тем же проницательным, иногда диким взглядом, и вместе политиком, умевшим приятно обойтись при встрече с нужным человеком. Петр тогда уже настолько сознавал свое значение, что пренебрегал приличиями: при выходе из парижской квартиры спокойно садился в чужую карету, чувствовал себя хозяином всюду, на Сене, как на Неве. Не таков он у К. Моора. Усы, точно наклеенные, здесь заметнее, чем у Кнеллера. В складке губ и особенно в выражении глаз, как будто болезненном, почти грустном, чувствуется усталость: думаешь, вот-вот человек попросит позволения отдохнуть немного. Собственное величие

придавило его; нет и следа ни юношеской самоуверенности, ни зрелого довольства своим делом. При этом надобно вспомнить, что этот портрет изображает Петра, приехавшего из Парижа в Голландию, в Спа, лечиться от болезни, спустя 8 лет его похоронившей.

Петр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет. В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец — от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безустанное движение развило в нем подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой. Он вечно и во всем спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте: на продолжительных пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в другую комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его в молодых летах большим охотником до танцев. Он был обычным и веселым гостем на домашних праздниках вельмож, купцов, мастеров, много и недурно танцевал, хотя не проходил методически курса танцевального искусства, а перенимал его «с одной практики» на вечерах у Лефорта. Если Петр не спал, не ехал, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому случае. В молодости, когда он еще многого не знал, осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за инструмент; ему все хотелось сработать самому. Охота к ремеслу развила в нем быструю сметливость и сноровку: зорко взглядевшись в незнакомую работу, он мигом усвоял ее. Ранняя склонность к ремесленным занятиям, к технической работе обратилась у него в простую привычку, в безотчетный позыв: он хотел узнать и усвоить всякое новое дело, прежде чем успевал сообразить, на что оно ему понадобится. С летами он приобрел необъятную массу технических познаний. Уже в первую заграничную его поездку немецкие принцессы из разговора с ним вывели заключение, что он в совершенстве знал до 14 ремесл. Впоследствии он был как дома в любой

мастерской, на какой угодно фабрике. По смерти его чуть не везде, где он бывал, рассеяны были вещицы его собственного изделия, шлюпки, стулья, посуда, табакерки и т. п. Дивиться можно, откуда только брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки. Успехи в рукоместве поселили в нем большую уверенность в ловкости своей руки: он считал себя и опытным хирургом, и хорошим зубным врачом. Бывало, близкие люди, заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при мысли, что царь проведает об их болезни и явится с инструментами, предложит свои услуги. Говорят, после него остался целый мешок с выдернутыми им зубами — памятник его зубоврачебной практики. Но выше всего ставил он мастерство корабельное. Никакое государственное дело не могло удержать его, когда представлялся случай поработать топором на верфи. До поздних лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не завернуть часа на два в адмиралтейство. И он достиг большого искусства в этом деле; современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он был не только зорким наблюдателем и опытным руководителем при постройке корабля: он сам мог сработать корабль с основания до всех технических мелочей его отделки. Он гордился своим искусством в этом мастерстве и не жалел ни денег, ни усилий, чтобы распространить и упрочить его в России. Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской воздух нужен был, как вода рыбе. Этому воздуху вместе с постоянной физической деятельностью он сам приписывал целебное действие на свое здоровье, постоянно колеблемое разными излишествами¹⁶. Отсюда же, вероятно, происходил и его несокрушимый, истинно матросский аппетит. Современники говорят, что он мог есть всегда и везде; когда бы ни приехал он в гости, до или после обеда, он сейчас готов был сесть за стол. Вставая рано, часу в пятом, он обедал в 11—12 часов и по окончании последнего блюда уходил соснуть. Даже на пиру в гостях он не отказывал себе в этом сне и, освеженный им, возвращался к собеседникам, снова готовый есть и пить.

Печальные обстоятельства детства и молодости, выбившие Петра из старых, чопорных порядков кремлевского дворца, пестрое и невзыскательное общество, которым он потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, заставлявших его поочередно браться то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную

дубинку, при подвижном, непоседном образе жизни сделали его заклятым врагом всякого церемониала. Петр ни в чем не терпел стеснений и формальностей. Этот властный человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему приходилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный вздор от представлявшегося посланника. Будничную жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видали в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми. Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки, выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец решился бы выехать. В торжественных случаях, когда, например, его приглашали на свадьбу, он брал экипаж напрокат у щеголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского¹⁰. В домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека, не любил просторных и высоких зал и за границей избегал пышных королевских дворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно: выросши на вольном воздухе, привыкнув к простору во всем, он не мог жить в комнате с высоким потолком и, когда попадал в такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоившем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Петербурге Петр построил себе также небольшие дворцы, зимний и летний, с тесными комнатками: царь не может жить в большом доме, замечает этот иноземец¹². Бросив кремлевские хоромы, Петр вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нем во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с петербургским; недаром Петр сравнивал себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При

Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год. Обычная прислуга царя состояла из 10—12 молодых дворян, большею частью незнатного происхождения, называвшихся денщиками. Петр не любил ни ливрей, ни дорогого шитья на платьях^{1а}. Впрочем, в последние годы Петра у второй его царицы был многочисленный и блестящий двор, устроенный на немецкий лад и не уступавший в пышности любому двору тогдашней Германии. Тяготясь сам царским блеском, Петр хотел окружить им свою вторую жену, может быть, для того, чтобы заставить окружающих забыть ее слишком простенькое происхождение^{1*}.

Ту² же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к людям; в обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился где ни попало, на первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех скидал с себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распорядителем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядившись угощением, он ставил в угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое с блюда прямо руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вилки поразила и немецких принцесс за ужином в Коппенбурге. Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел деликатных манер. На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился играть в шахматы с простыми матросами, вместе с ними пил пиво и из длинной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или соседней зале дам². После³ дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского, в которой и сам принимал участие, ходя взад и вперед по комнате, не забывая своего стакана, и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани; провинившегося тотчас наказывали, заставляя «пить штраф», опорожнить бокала три вина или одного «орла»

(большой ковш), чтобы «лишнего не врал и не задира». На этих досужих товарищеских беседах щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз—это было еще до дела царевича Алексея—на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя,—все это—создание его, государевых рук; как вспомнил он все это да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?»—добавил он. «Как на кого?»—возразил Петр,—«у меня есть наследник-царевич».—«Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучащая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак!—заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове,—этого при всех не говорят»³. Привыкнув^{4*} поступать во всем прямо и просто, он и от других прежде всего требовал дела, прямоты и откровенности и терпеть не мог уверток. Неплюев рассказывает в своих записках, что, воротившись из Венеции по окончании выучки, он сдал экзамен самому царю и поставлен был смотрителем над строившимися в Петербурге судами, почему видался с Петром почти ежедневно. Неплюеву советовали быть расторопным и особенно всегда говорить царю правду. Раз, подгуляв на именинах, Неплюев проспал и явился на работу, когда царь был уже там. В испуге Неплюев хотел бежать домой и сказать больным, но передумал и решился откровенно покаяться в своем грехе. «А я уже, мой друг, здесь»,—сказал Петр.—«Виноват, государь,—отвечал Неплюев,—вчера в гостях засиделся». Ласково взяв его за плечи так, что тот дрогнул и едва удержался на ногах, Петр сказал: «Спасибо, малый, что говоришь правду; бог простит: кто богу не грешен, кто бабушке не внук? А теперь поедem на родины». Приехали к плотнику

у которого родила жена. Царь дал роженице 5 гривен и поцеловался с ней, велел то же сделать и Неплюеву, который дал ей гривну. «Эй, брат, вижу, ты даришь не по-заморски»,—сказал Петр, засмеявшись.—«Нечем мне дарить много, государь: дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше царское жалованье, то, живучи здесь, и есть было бы нечего». Петр расспросил, сколько за ним душ крестьян и где у него поместье. Плотник поднес гостям по рюмке водки на деревянной тарелке. Царь выпил и закусил пирогом с морковью. Неплюев не пил и отказался было от угощения, но Петр сказал: «Выпей, сколько можешь, не обижай хозяев» и, отломив ему кусок пирога, прибавил: «На, закуси, это родная, не итальянская пища»^{4а}. Но добрый по природе как человек, Петр был груб как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других; среда, нам уже знакомая, в которой он вырос, и не могла воспитать в нем этого уважения. Природный ум, лета, приобретенное положение прикрывали потом эту прореху молодости; но порой она просвечивала и в поздние годы. Любимец Алексашка Меншиков в молодости не раз испытывал на своем продолговатом лице силу петровского кулака. На большом празднестве один иноземный артиллерист, назойливый болтун, в разговоре с Петром расхвастался своими познаниями, не давая царю выговорить слова. Петр слушал-слушал хвастуна, наконец, не вытерпел и, плюнув ему прямо в лицо, молча отошел в сторону^{4б}. Простота обращения и обычная веселость делали иногда обхождение с ним столь же тяжелым, как и его вспыльчивость или находившее на него по временам дурное расположение духа, выражавшееся в известных его судорогах. Приближенные, чуя грозу при виде этих признаков, немедленно звали Екатерину, которая сажала Петра и брала его за голову, слегка ее почесывая. Царь быстро засыпал, и все вокруг замирало, пока Екатерина неподвижно держала его голову в своих руках. Часа через два он просыпался бодрым, как ни в чем не бывало. Но и независимо от этих болезненных припадков прямой и откровенный Петр не всегда бывал деликатен и внимателен к положению других, и это портило непринужденность, какую он вносил в свое общество. В добрые минуты он любил повеселиться и пошутить, но часто его шутки шли через край, становились неприличны или жестоки. В торжественные дни летом в своем Летнем саду перед дворцом, в дубовой рощице, им самим разведенной, он любил видеть вокруг себя все высшее общество столицы, охотно бесе-

довал со светскими чинами о политике, с духовными о церковных делах, сидя за простыми столиками на деревянных садовых скамейках и усердно потчuya гостей, как радушный хозяин. Но его хлебосольство порой становилось хуже демьяновой ухи. Привыкнув к простой водке, он требовал, чтобы ее пили и гости, не исключая дам. Бывало, ужас пронимал участников и участниц торжества, когда в саду появлялись гвардейцы с ушатами сивухи, запах которой широко разносился по аллеям, причем часовым приказывалось никого не выпускать из сада^{4а}. Особо назначенные для того майоры гвардии обязаны были потчевать всех за здоровье царя, и счастливым считал себя тот, кому удавалось какими-либо путями ускользнуть из сада. Только духовные власти не отвращали лиц своих от горькой чаши и весело сидели за своими столиками; от иных далеко отдавало редькой и луком. На одном из празднеств проходившие мимо иностранцы заметили, что самые пьяные из гостей были духовные, к великому удивлению протестантского проповедника, никак не вообразившего, что это делается так грубо и открыто. В 1721 г. на свадьбе старика-вдовца князя Ю. Ю. Трубецкого, женившегося на 20-летней Головиной, когда подали большое блюдо со стаканами желе, Петр велел отцу невесты, большому охотнику до этого лакомства, как можно шире раскрыть рот и принялся совать ему в горло кусок за куском, даже сам раскрывал ему рот, когда тот разевал его недостаточно широко. В то же время за другим столом дочь хозяина, пышная богачка и модница княжна Черкасская, стоя за стулом своего брата, хорошо образованного молодого человека, бывшего дружкой на свадьбе отца, по знаку сидевшей тут императрицы принималась щекотать его, а тот ревел, как теленок, которого режут, при дружном хохоте всего общества, самого изящного в тогдашнем Петербурге.

Такой юмор царя сообщал тяжелый характер увеселениям, какие он завел при своем дворе. К концу Северной войны составилсЯ значительный календарь собственно придворных ежегодных праздников, в состав которого входили викториальные торжества, а с 1721 г. к ним присоединилось ежегодное празднование Ништадтского мира. Но особенно любил Петр веселиться по случаю спуска нового корабля: новому кораблю он был рад, как новорожденному детищу. В тот век пили много везде в Европе, не меньше, чем теперь, а в высших кругах, особенно придворных, пожалуй, даже больше. Петербургский двор не отставал от своих заграничных образцов.

Бережливый во всем, Петр не жалел расходов на попойки, какими вспрыскивали новоооруженного пловца. На корабль приглашалось все высшее столичное общество обоого пола. Это были настоящие морские попойки, те, к которым идет или от которых идет поговорка, что пьяным по колено море. Пьют, бывало, до тех пор, пока генерал-адмирал старик Апраксин начнет плакать-разливаться горючими слезами, что вот он на старости лет остался сиротою круглым, без отца, без матери, а военный министр светлейший князь Меншиков свалится под стол и прибежит с дамской половины его испуганная княгиня Даша отливать и оттирать бездыханного супруга. Но пир не всегда заканчивался так просто: за столом вспылит на кого-нибудь Петр и раздраженный убежит на дамскую половину, запретив собеседникам расходиться до его возвращения, и солдата приставит к выходу; пока Екатерина не успокаивала расходившегося царя, не укладывала его и не давала ему выпаться, все сидели по местам, пили и скучали. Заключение Ништадтского мира праздновалось семидневным маскарадом. Петр был вне себя от радости, что кончил бесконечную войну, и, забывая свои годы и недуги, пел песни, плясал по столам. Торжество совершалось в здании Сената. Среди пира Петр встал из-за стола и отправился на стоявшую у берега Невы яхту соснуть, приказав гостям дожидаться его возвращения. Обилие вина и шума на этом продолжительном торжестве не мешало гостям чувствовать скуку и тягость от обязательного веселья по наряду, даже со штрафом за уклонение (50 рублей, около 400 рублей на наши деньги). Тысяча масок ходила, толкалась, пила, плясала целую неделю, и все были рады-радешеньки, когда дотянули служебное веселье до указанного срока.

Эти официальные празднества были тяжелы, утомительны. Но еще хуже были увеселения, тоже штатные и непристойные до цинизма. Трудно сказать, что было причиной этого, потребность ли в грязном рассеянии после черной работы или непривычка обдумывать свои поступки. Петр старался облечь свой разгул с сотрудниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так возникла коллегия пьянства, или «сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор». Он состоял под председательством набольшего шута, носившего титул князя-папы, или всешумнейшего и всешутейшего патриарха московского, кокуйского и всея Яузы⁴². При нем был конклав 12 кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов,

архимандритов и других духовных чинов, носивших прозвища, которые никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав, в котором обнаружил не менее законодательной обдуманности, чем в любом своем регламенте. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и поставления папы и рукоположения на разные степени пьяной иерархии. Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которого было славить Бахуса питием непомерным, был свой порядок пьянодействия, «служения Бахусу и честнаго обхождения с крепкими напитками», свои облачения, молитвословия и песнопения, были даже всешутейшие матери-архиерейши и игуменьи. Как в древней церкви спрашивали крещаемого: «Веруеши ли?», так в этом соборе новопринятому члену давали вопрос: «Пиеши ли?» Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве; иначе мудрствующих еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, как бы вероотступлением, противление коему — путь к венцу мученическому. Бывало, на святках компания человек в 200 в Москве или Петербурге на нескольких десятках саней на всю ночь до утра пустится по городу «славить»; во главе процессии шутовской патриарх в своем облачении, с жезлом и в жестяной митре; за ним сломя голову скачут сани, битком набитые его сослужителями, с песнями и свистом. Хозяева домов, удостоенных посещением этих славельщиков, обязаны были угощать их и платить за славление; пили при этом страшно, замечает современный наблюдатель. Или, бывало, на первой неделе великого поста его всешутейшество со своим собором устроит покаянную процессию: в назидание верующим выедут на ослах и волах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами, в вывороченных полущубках^{4*}. Раз на масленице в 1699 г. после одного пышного придворного обеда царь устроил служение Бахусу; патриарх, князь-папа Никита Зотов, знакомый уже нам бывший учитель царя, пил и благословлял преклонявших перед ним колена гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чубуками, подобно тому как делают архиереи дикирием и трикирием; потом с посохом в руке «владыка» пустился в пляс. Один только из присутствовавших на обеде, да и то иноземный посол, не вынес

зрелища этой одури и ушел от православных шутов. Иноземные наблюдатели готовы были видеть в этих безобразиях политическую и даже народовоспитательную тенденцию, направленную будто бы против русской церковной иерархии и даже самой церкви, а также против порока пьянства: царь-де старался сделать смешным то, к чему хотел ослабить привязанность и уважение⁵; доставляя народу случай позабавиться, пьяная компания приучала его соединять с отвращением к грязному разгулу презрение к предрассудкам. Трудно взвесить долю правды в этом взгляде; но все же это — скорее оправдание, чем объяснение. Петр^{6*} играл не в одну церковную иерархию или в церковный обряд. Предметом шутки он делал и собственную власть, величая князя Ф. Ю. Ромодановского королем, государем, «вашим пресветлым царским величеством», а себя «всегдашним рабом и холопом Peter'om» или просто по-русски Петрушкой Алексеевым. Очевидно, здесь больше настроения, чем тенденции. Игривость досталась Петру по наследству от отца, который тоже любил пошутить, хотя и остерегался быть шутом^{6а}. У Петра и его компании было больше позыва к дурачеству, чем дурацкого творчества. Они хватали формы шутовства откуда ни попало, не щадя ни преданий старины, ни народного чувства, ни собственного достоинства, как дети в играх пародируют слова, отношения, даже гримасы взрослых, вовсе не думая их осуждать или будировать. В пародии церковных обрядов глумились не над церковью^{6*}, даже не над церковной иерархией как учреждением: просто срывали досаду на класс, среди которого видели много досадных людей. Можно не дивиться крайней беззаботности о последствиях, о впечатлении от оргий. Хотя Петр жаловался, что ему приходится иметь дело не с одним бородачом, как его отцу, а с тысячами, но с этой стороны можно было ждать больше неприятностей, чем опасностей. К большинству тогдашней иерархии был приложен укор, обращенный противниками нововведений на последнего патриарха Адриана, что он живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии для клобука белого, затем и не обличает. Серьезнее был ропот в народе, среди которого уже бродила молва о царе-антихристе; но и с этой стороны надеялись на охранительную силу кнута и застенка, а об общественной стыдливости в тогдашних правящих сферах имели очень слабое помышление. Да и народные нравы если не оправдывают, то частью объясняют эти непристойные забавы. Кому неизвестна русская привычка в веселую минуту пошутить над церковными

предметами, украсить праздное балагурство священным изречением? Известно также отношение народной легенды к духовенству и церковному обряду. В этом повинно само духовенство: строго требуя наружного исполнения церковного порядка, пастыри не умели внушить должного к нему уважения, потому что сами недостаточно его уважали. И Петр был не свободен от этой церковно-народной слабости: он был человек набожный, скорбел о невежестве русского духовенства, о расстройстве церкви, чтит и знал церковный обряд, вовсе не для шутки любил в праздники становиться на клиросе в ряды своих певчих и пел своим сильным голосом — и, однако же, включил в программу празднования Ништадтского мира в 1721 г. непристойнейшую свадьбу князя-папы, старика Бутурлина, со старухой, вдовой его предшественника Никиты Зотова, приказав обвенчать их в присутствии двора при торжественно-шутовской обстановке в Троицком соборе. Какую политическую цель можно найти в этой непристойности, как и в ящике с водкой, формат которого напоминал пьяной коллегии евангелие? Здесь не тонкий или лукавый противоцерковный расчет политиков, а просто грубое чувство властных гуляк, вскрывавшее общий факт, глубокий упадок церковного авторитета. При господстве монашества, унизившем более духовенство, дело церковно-пастырского воспитания нравственного чувства в народе превратилось в полицию совести.

Но^{7*} Петр от природы не был лишен средств создать себе более приличные развлечения. Он, несомненно, был одарен здоровым чувством изящного, тратил много хлопот и денег, чтобы доставать хорошие картины и статуи в Германии и Италии: он положил основание художественной коллекции, которая теперь помещается в петербургском Эрмитаже. Он имел вкус особенно к архитектуре; об этом говорят увеселительные дворцы, которые он построил вокруг своей столицы и для которых выписывал за дорогую цену с Запада первоклассных мастеров, вроде, например, знаменитого в свое время Леблона, «прямой диковины», как называл его сам Петр, сманивший его у французского двора за громадное жалованье. Построенный этим архитектором петергофский дворец Монплеизир, со своим кабинетом, украшенным превосходной резной работой, с видом на море и тенистыми садами, вызывал заслуженные похвалы от посещавших его иностранцев. Правда, незаметно, чтобы Петр был любителем классического стиля: он искал в искусстве лишь средства для поддержания легкого, бодрого расположения духа; упомя-

нутый его петергофский дворец украшен был превосходными фламандскими картинами, изображавшими сельские и морские сцены, большею частью забавные^{7а}. Привыкнув жить кое-как, в черной работе, Петр, однако, сохранил умение быть равнодушным к иному ландшафту, особенно с участием моря, и бросал большие деньги на загородный дворец с искусственными террасами, каскадами, хитрыми фонтанами, цветниками и т. п. Он обладал сильным эстетическим чутьем; только оно развивалось у Петра несколько односторонне, сообразно с общим направлением его характера и образа жизни. Привычка вникать в подробности дела, работа над техническими деталями создала в нем геометрическую меткость взгляда, удивительный глазомер, чувство формы и симметрии; ему легко давались пластические искусства, нравились сложные планы построек; но он сам признавался, что не любит музыки, и с трудом переносил на балах игру оркестра^{7*}.

По⁸ временам на шумных увеселительных собраниях петровой компании слышались и серьезные разговоры. Чем шире разворачивались дела войны и реформы, тем чаще Петр со своими сотрудниками задумывался над смыслом своих деяний. Эти беседы любопытны не столько взглядами, какие в них высказывались, сколько тем, что позволяют ближе всмотреться в самих собеседников, в их побуждения и отношения, и притом смягчают впечатление их нетрезвой и беспорядочной обстановки. Сквозь табачный дым и звон стаканов пробивается политическая мысль, освещающая этих дельцов с другой, более привлекательной стороны. Раз в 1722 г., в веселую минуту, под влиянием стаканов венгерского, Петр разговаривал с окружавшими его иностранцами о тяжелых первых годах своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить регулярное войско и флот, насаждать в своем праздном, грубом народе науки, чувства храбрости, верности, чести, что сначала все это стоило ему страшных трудов, но это теперь, слава богу, миновало, и он может быть спокойнее, что надобно много трудиться, чтобы хорошо узнать народ, которым управляешь. Это были, очевидно, давние, привычные помыслы Петра; едва ли не он сам начал продолжавшуюся и после него обработку легенды о своей творческой деятельности. Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную форму девиза, изображающего ваятеля, который высекает из грубого куска мрамора человеческую фигуру и почти до половины окончил свою работу. Значит, к концу шведской войны Петр и его сотрудники

сознавали, что достигнутые военные успехи и исполненные реформы еще не завершают их дела, и их занимал вопрос, что предстоит еще сделать. Татищев в своей *Истории Российской* передает рассказ об одной застольной беседе, слышанной, очевидно, от собеседников⁸. Дело⁹ было в 1717 г., когда блеснула надежда на скорое окончание тяжелой войны. Сидя за столом на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, об его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому, не боявшемуся спорить с царем в Сенате, и, став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен; а теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь говорил так:

«На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом — твой отец. Три главные дела у царей: первое — внутренняя расправа и правосудие; это ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело — военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако, хоть и много я о том

думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать: конец войны прямо нам это покажет. Третье дело—устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что умные государи умеют и умных советников выбирать и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить». Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: *Благий рабе верный! В мале был еси мне верен, над многими тя поставлю.* «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно—так заканчивает свой рассказ Татищев,—и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели»⁹.

Петр¹⁰ прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план; он лучше соображал средства и цели, чем следствия; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума отразился и на его политическом и нравственном характере. Петр вырос в среде, совсем неблагоприятной для политического развития. То были семейство и придворное общество царя Алексея, полные вражды, мелких интересов и ничтожных людей. Придворные интриги и перевороты были первоначальной политической школой Петра. Злоба сестры выбросила его из царской обстановки и оторвала от сросшихся с ней политических понятий. Этот разрыв сам по себе не был большой потерей для Петра: политическое сознание кремлевских умов XVII в. представляло беспорядочный хлам, составившийся частью из унаследованных от прежней династии церемониальных ветошей и вотчинных привычек, частью из политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым царям новой династии понять свое положение в государстве. Несчастье Петра было в том, что он остался без всякого политического сознания, с одним смутным и бессодержательным ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности. Эта безграничная пустота сознания долго

ничем не наполнялась. Мастеровой характер усвоенных с детства занятий, ручная черная работа мешала размышлению, отвлекала мысль от предметов, составляющих необходимый материал политического воспитания, и в Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. С детства плохо направленный нравственно и рано испорченный физически, невероятно грубый по воспитанию и образу жизни и бесчеловечный по ужасным обстоятельствам молодости, он при этом был полон энергии, чуток и наблюдателен по природе. Этими природными качествами несколько сдерживались недостатки и пороки, навязанные ему средой и жизнью. Уже в 1698 г. английский епископ Бернет заметил, что Петр с большими усилиями старается победить в себе страсть к вину. Как ни мало был Петр внимателен к политическим порядкам и общественным нравам Запада, он при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и крепнут не кнутом и застенком, а жестокие уроки, данные ему под первым Азовом, под Нарвой и на Пруте, постепенно указывали ему на его политическую неподготовленность, и по мере этого начиналось и усиливалось его политическое самообразование: он стал понимать крупные пробелы своего воспитания и вдумываться в понятия, вовремя им не продуманные, о государстве, народе, о праве и долге, о государе и его обязанностях. Он умел свое чувство царственного долга развить до самоотверженного служения, но не мог уже отрешиться от своих привычек, и если несчастья молодости помогли ему оторваться от кремлевского политического жеманства, то он не сумел очистить свою кровь от единственного крепкого направителя московской политики, от инстинкта произвола. До конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Впрочем, нельзя слишком винить его за это: с трудом понимал это и мудрый политик и советник Петра Лейбниц, думавший и, кажется, уверявший Петра, что в России тем лучше можно насадить науки, чем меньше она к тому подготовлена. Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения: он надеялся только силой навя-

зять народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега. Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости¹⁰. Петр^{11*} был честный и искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и доброжелательный к другим; но по направлению своей деятельности он больше привык обращаться с вещами, с рабочими орудиями, чем с людьми, а потому и с людьми обращался, как с рабочими орудиями, умел пользоваться ими, быстро угадывал, кто на что годен, но не умел и не любил входить в их положение, беречь их силы, не отличался нравственной отзывчивостью своего отца. Петр знал людей, но не умел или не всегда хотел понимать их. Эти особенности его характера печально отразились на его семейных отношениях. Великий знаток и устроитель своего государства, Петр плохо знал один уголок его — свой собственный дом, свою семью, где он бывал гостем^{11а}. Он не ужился с первой женой, имел причины жаловаться на вторую и совсем не поладил с сыном, не уберег его от враждебных влияний, что привело к гибели царевича и подвергло опасности самое существование династии.

Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и можно заметить некоторую генетическую связь, историческую преемственность ролей и типов^{11б}. Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его предшественники, цари старой и новой династии; но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой^{11*}.